

Дмитрий Колесниченко

НЕПРОСТЫЕ ДЕТИ

ДРУГОЙ БЕРЕГ

2026



Дмитрий Колесниченко

Непростые дети. Другой берег

<https://litres.ru/73592001>

SelfPub; 2026

Аннотация

Две сестры. Одна видит прошлое, вторая слышит чужие мысли как радио. Отец, который знает правду и молчит, и мать, которая держит семью силой любви.

Москва начала 2000–х, страна, в которой экстрасенсы продают чудеса и выступают по телевидению. Первая влюблённость, школьные будни наблюдательные учителя и подруги — и ежедневный подвиг притворяться обычной, когда ты точно знаешь ответ на вопрос, которого ещё не задали.

Мир, в котором быть настоящей опаснее, чем быть фальшивой.

Содержание

НЕПРОСТЫЕ ДЕТИ. ДРУГОЙ БЕРЕГ	4
От автора	5
Глава 1. Новый отсчёт	7
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Непростые дети. Другой берег

НЕПРОСТЫЕ ДЕТИ. ДРУГОЙ БЕРЕГ

Две сестры. Одна видит прошлое, вторая слышит чужие мысли как радио. Отец, который знает правду и молчит, и мать, которая держит семью силой любви. Москва начала 2000–х, страна в которой экстрасенсы продают чудеса и выступают по телевидению. Первая влюблённость, школьные будни наблюдательные учителя и подруги – и ежедневный подвиг притворяться обычной, когда ты точно знаешь ответ на вопрос, которого ещё не задали. Мир, в котором быть настоящей опаснее, чем быть фальшивой.

© Дмитрий Колесниченко, 2026

От автора

«Век шума и вспышек не терпит тех, кто светится изнутри. Им приходится учиться гасить свой свет, чтобы выжить»— Харуки Мураками

Эта история началась с тишины.

Не с той, что бывает, когда в комнате просто перестают говорить, а с другой, более редкой: с тишины, которая приходит в момент, когда вдруг понимаешь, что человек напротив знает о тебе больше, чем ты сам, и молчит не потому, что ему нечего сказать, а потому, что одно сказанное слово изменит всё.

Первая книга была о пробуждении. О семье, которая поняла: её дети – *другие*, и решила не отдавать их миру, который ещё не готов. Спрятать. Защитить. Стать крепостью.

Но дети растут. И крепости тоже.

Вторая книга – о том, что происходит, когда стены, выстроенные за десять лет, начинают жать. Дочери вырастают и хотят не только прятаться, но и *понять* себя, свой дар, свою цену. Мальчик пишет стихи, а ты слышишь, что он думает на самом деле. Касаешься музейной иконы и произносишь вслух то, чего нет ни в одном каталоге. По всей стране чудеса продают по три тысячи за сеанс, а ты настоящая – и именно поэтому тебе нельзя.

Это книга о Москве двухтысячных: о полифонических

рингтонах, живых журналах, латте за сто двадцать рублей и «Битве экстрасенсов» в прайм-тайм. О времени, когда мир начал сжиматься, камеры появились в каждом кармане, следы остались в каждом блоге, и тем, кто живёт тайной, воздуха стало заметно меньше.

Но прежде всего это книга о семье. О муже, который знает будущее и откладывает деньги «на всякий случай», хотя случай этот ему давно известен. О жене, которая держит всё вместе без единой сверхъестественной способности, одной любовью и железной волей, и которая на каждое очередное чудо реагирует тем, что идёт ставить чайник. О старшей дочери, нашедшей щит в философии, и о младшей, спрятавшейся в стихах. О пельменях, которые подгорают, пока теплпатка уже предупреждает маму, а мама просит хотя бы делать вид, что не знаешь. О подруге, которая два года вела список странностей и однажды задала вопрос, на который нельзя ответить. И о другом берегу – далёком, туманном, пахнущем вереском и солёным ветром с моря, – где, может быть, *быть собой* наконец перестанет быть опасным.

Семья Голубевых не выбирала свои дары; она выбрала друг друга.

Иногда этого достаточно. Иногда – нет. Но это уже совсем другая история, и она начинается прямо сейчас.

Глава 1. Новый отсчёт

Каждый момент жизни создан вашими же мыслями.



Клёны горели. Не метафорически, не книжно – по-настоящему: каждый лист был отдельным огоньком, рыжим, алым, медно-жёлтым, и все вместе они складывались в тихий пожар, от которого не хотелось спасаться. Тая стояла у окна босиком, прижавшись лбом к стеклу, и смотрела на парк через дорогу – на газон, засыпанный листьями, мокрыми после ночного дождя, на лавочку с облупившейся зелёной краской, на бабушку в бордовом берете, которая выгуливала таксу, и такса тянула поводок к луже с таким отчаянием, словно в этой луже скрывался смысл её маленькой собачьей жизни.

Воскресное утро, начало октября. Москва пахла дымом от первых костров – кто-то во дворах жёг листву, несмотря на запреты, – и мокрой землёй, и чем-то ещё, чему нет названия: остывающим летом, наверное, или надвигающимся ноябрём. Свет лежал на крышах длинными прозрачными полосами, косой и ленивый, как бывает только в октябре, когда солнце уже не старается, а просто присутствует, и каждая капля на перилах балкона вспыхивала крошечным фонарём – и гасла, стоило моргнуть.

Тая смотрела на всё это просто глазами, без видений и вспышек чужих историй, прилетающих через пальцы, через подошвы, через случайно задетый чужой локоть в метро. Без прозрачных наслоений прошлого, которые превращали любой предмет в кинотеатр, где показывали фильм, на который ты не покупала билет. Просто пятнадцатилетняя девочка в

растянутой домашней футболке и папиных шерстяных носках любителю на огненно-золотую осень.

Бывают минуты, думала Тая, когда мир красив настолько, что дар в нём лишний. Когда всё и так кричит – цветом, светом, движением таксы к луже, – и добавлять к этому нечего. Эйнштейн говорил: есть два способа прожить жизнь – будто чудес не существует или будто кругом одни чудеса. В такое утро второй способ не требовал никаких усилий.

Потом из кухни раздался грохот: Таня уронила кружку, судя по звуку, ту самую, с надписью «Лучшей маме на свете», подаренную на восьмое марта, – и минута кончилась, как кончаются все минуты: без предупреждения, без титров, щелчком, после которого ты снова внутри обычного дня.

Тая отошла от окна, сунула руки в карманы – привычка, которая за последний год стала второй натурой, – и пошла узнавать, уцелела ли кружка, и если нет, то будет ли мама расстроена или сделает вид, что не расстроена, что гораздо хуже.

* * *

Кружка уцелела, мама – в порядке. Катя сидела за кухонным столом над стопкой документов, придерживая волосы заколкой-крабом, которая вечно сползала на затылок, и пила остывший кофе из другой кружки – белой, безымянной, купленной в «Ашане» за девятнадцать рублей. Перед ней ле-

жала раскрытая папка, и по тому, как мама водила ручкой по полям, подчёркивая и ставя восклицательные знаки, Тая поняла: дело сложное, но интересное, из тех, которые мама называла «с изюминой».

– Доброе утро, – сказала Тая, обходя Таню, которая собирала с пола осколки не кружки, а блюдца (значит, мамина кружка пережила ещё одно воскресенье), и заглянула в папку через плечо. – Арбитраж?

– Не подглядывай, – Катя закрыла папку ладонью, но не сердито, а по привычке. – И да, арбитраж. Твой отец взялся за ООО «Стройинвест», и там такое... – она осеклась, посмотрела на дочерей и закончила нейтрально: – В общем, там нужна хорошая доказательная база.

– Ты сейчас прямо как папа, – заметила Таня, ссылая осколки в мусорное ведро. – «Доказательная база». Вы скоро начнёте фразы друг за друга заканчивать.

– Мы уже начали, – Катя отпила кофе и поморщилась: совсем остыл. – Лет десять назад.

За последний год их с Димой связка превратилась в нечто, чему Катя не могла подобрать слова – или, точнее, могла, но все слова казались слишком громкими. Они работали как часовой механизм: Катя держала бумаги, клиентов и повседневный шум, Дима – тот странный внутренний ритм, по которому он безошибочно выбирал дела. Со стороны это выглядело как опыт, талант и удача, а на деле было знание, которое не спрашивает разрешения.

Дима брал всё более крупные дела и ни одного не проигрывал, потому что брался только за те, в которых победа была неизбежна. В юридических кругах ходила шутка: «Голубев не адвокат, Голубев пророк в галстук». Дима на неё улыбался так, как улыбается фокусник, когда зрители пытаются угадать, в каком рукаве спрятан кролик, – снисходительно и чуть устало, потому что кролик-то настоящий, а рукавов вообще нет.

Сам он появился на кухне через полчаса – выбритый, в воскресной рубашке с расстёгнутым воротом, с зелёной тетрадь под мышкой. Тетрадь была четвёртой по счёту с девяносто первого года: обложка уже потёрта, хотя начата в прошлом году, углы загнулись, на корешке – пятно от кофе, похожее на карту несуществующего острова. Дима положил её на холодильник – всегда на холодильник, – налил себе чаю, поцеловал Катю в макушку и сел напротив, пододвинув к себе сахарницу.

– Суд удаляется на совещание, – сообщил он, имея в виду, что после чая закроется в кабинете и будет думать.

– Завтрак, – ответила Катя тоном, не терпящим апелляций. – Потом совещание.

– Принимается, – Дима поднял кружку как судья молоток.

– Ты опять всё тащишь на себе, да?

– Не всё, – Дима повертел кружку в руках, разглядывая пятно от кофе на боку. – Только то, что имеет привычку взрываться, если его оставить без присмотра.

– Утешил, – Катя откинулась на спинку стула и сняла за-
колку-краб, переставила её чуть выше, отпила кофе и помор-
щилась: совсем холодный. Не налила нового, только обхва-
тила кружку ладонями, будто надеялась согреть. – Я уже по-
чти расслабилась.

– У нас дом, а не склад с порохом.

– Иногда по ощущениям именно склад. С двумя подрост-
ками и одним мужем, который контролирует всё, включая
температуру чая.

Дима отвёл взгляд в окно, где дворник медленно гнал ли-
стья от арки к канаве, один и тот же квадрат асфальта, раз
за разом, и движение это было настолько бессмысленным и
постоянным, что казалось почти утешительным. Потом по-
вернулся обратно.

– Я не контролирую температуру чая. Я просто знаю, ко-
гда он остыл. Это разные вещи.

– Вот за это тебя и любят клиенты. И ненавидят оппонен-
ты.

Он снова поднял кружку, как точку в конце фразы.

– А жена?

– Жена пока совещается с присяжными, – Катя дёрнула
уголком рта, и в этом движении было столько тепла, сколько
не бывает в словах.

Тая наблюдала за ними от дверного косяка, привалившись
плечом к стене. Руки в карманах, на лице лёгкая улыбка, ко-
торую посторонний принял бы за рассеянность, а на самом

деле – за внимание, острое и бережное одновременно. Она любила воскресные утренние часы, когда семья была в сборе, когда мир за окном горел рыжим, а мир внутри пах кофе и хлебными тостами, и никто никуда не торопился, и ничего не болело.

Таня, проходя мимо сестры, коснулась её локтя – коротко, как знак: раскрытая ладонь вниз, у бедра, невидимая для родителей. «Нормально». Тая ответила тем же.

* * *

Просто не будет – это Тая поняла окончательно через три недели после начала учебного года, когда учительница истории Маргарита Павловна вызвала её к доске и попросила рассказать о причинах русско-японской войны.

Тая рассказала – и в целом всё бы сошло за обычный ответ, если бы не детали.

– Откуда ты знаешь про записку Безобразова? – Маргарита Павловна поправила очки с такой подозрительностью, словно Тая только что процитировала засекреченный архив. – Это не в учебнике.

Двадцать восемь голов повернулись к Тае. Двадцать восемь пар глаз – и в каждой паре, если присмотреться, разное: любопытство, скука, тихая зависть, безразличие, интерес Алёны Волковой, острый и цепкий, как рыболовный крючок.

– Реферат, – сказала Тая спокойно. – Из «Вопросов истории». Библиотека.

Второе правило: если выделилась – объясни. Несуществующий реферат, несуществующий журнал, точнее – журнал существовал, но Тая в него не заглядывала: она просто знала про записку, потому что в прошлом месяце в букинистическом на Покровке случайно коснулась старой карты Маньчжурии и увидела – на секунду, как вспышку – кабинет, человека в мундире, почерк, летящий по бумаге, и дату: 1903. Но этого Маргарите Павловне знать было не нужно.

– Похвально, – сказала Маргарита Павловна без особого энтузиазма и отпустила её.

Тая села на место, и Алёна, сидевшая через проход, наклонилась к ней с видом следователя, получившего новую улику:

– Какой реферат? Ты при мне всю неделю читала Коэльо.
– Старый реферат, – Тая не моргнула. – С лета.

Алёна откинулась на спинку стула, прикусила колпачок ручки – привычка, которую не могла побороть с третьего класса, – и прищурилась. У неё было лицо человека, который записывает в уме ещё один пункт в невидимый список, и Тая подозревала, что список этот давно перестал быть коротким.

В восьмом классе тремя этажами ниже Таня решала задачу другого порядка. Её протоколы были жёстче, чем у Таи, – потому что её дар был громче. Тридцать подростковых мозгов в замкнутом пространстве класса фонили, как тридцать

радиоприёмников, настроенных на разные станции: обрывки мыслей, образов, эмоций, фантазий, которых лучше не знать, страхов, которые лучше не чувствовать. Ментальный скафандр – техника, которую она годами оттачивала до автоматизма, – держался, но к четвёртому уроку трещал по швам, как зимняя куртка, из которой выросла.

Таня выработала свой метод: когда фон становился невыносимым, она начинала тихо, одними губами, повторять стихи. Ахматова работала лучше всего – ритм её строк создавал частоту, на которой чужие мысли глохли, как радиопомехи. «Я научилась просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу...» – шептала Таня, и класс отступал, и можно было дышать.

– Ты что бормочешь? – спросил сосед по парте Витя Селезнёв, мальчик с вечно развязанными шнурками и мыслями такими громкими и простыми, что Тане иногда казалось: она слышит их на частоте FM, где круглосуточно крутят один и тот же хит про еду.

– Формулы, – ответила Таня с усмешкой, от которой не поймёшь, шутит она или нет. – Учю формулы. Очень сложные. Секретные.

Витя пожал плечами. Его мозг уже переключился на мысль о бутерброде с колбасой в портфеле и о том, когда наконец наступит перемена, и эта мысль была такой яркой и голодной, что Таня почувствовала фантомный запах докторской.

До перемены оставалось двадцать две минуты: Таня знала это без часов, потому что школьный день ощущался как течение реки, и она всегда чувствовала, у какого поворота находится, у какого камня. На перемене будет хуже: все думают одновременно, во весь голос, и коридор превращается в стадион, где орут триста человек, только не ртами, а головами.

Она достала из кармана блокнот – маленький, в клеточку, с загнутыми углами – и записала строчку, которая пришла сама, без спроса: «В чужих головах – как в чужих квартирах: везде пахнет по-разному, и ни одна – не твой дом».

* * *

Письмо пришло в среду вечером, когда Тая сидела за компьютером – старый «Пентиум», подключённый к dial-up через телефонную линию, и модем пел свою электронную песню, хрипя и свистя, как умирающий робот. Загрузка фотографии заняла две минуты и сорок секунд. Тая знала точно, потому что считала.

На фотографии была Маша. Маша у дома на Дзержинского, улыбающаяся, в джинсовой куртке, с причёской, которая отчаянно пыталась быть похожей на причёску солистки «Тату», но проигрывала битву с генетикой. За спиной Маши – новая вывеска: «Продукты 24 часа», яркая, с подсветкой, на месте старого «Продуктового», где когда-то давно продавщица тётя Валя отрезала сыр на глаз и никогда не ошибалась

в граммах.

«Привет из Тольятти! – писала Маша. – Ты не поверишь: Серёжка Панкратов женился. На Ленке из параллельного. Ему 17, ей 16, мамы обеих в обмороке. Ещё снесли ларёк у школы, где мы покупали мороженое, помнишь? На его месте строят что-то стеклянное. Бабушка моя говорит – “скоро на Луну ларёк поставят”. А ещё Зинаида Аркадьевна передаёт привет, я её встретила на рынке, она купила три кило вишни и сказала, что варенье отправит “девочкам в Москву”. Как вы там? Скучаю жутко. Целую. Маша. P.S. Когда приедете?»

Тая перечитала письмо дважды. От экрана – голубоватого, мерцающего – тянуло теплом. Тольятти. Двор. Тополиный пух, который летел в июне и набивался в волосы, и мама ругалась, а папа смеялся. Варенье тёти Зины – густое, тёмное, с косточками, которые тётя Зина принципиально не вынимала, потому что «с косточками – настоящее, а без – компот, а я тебе не фабрика». Запах этого варенья Тая помнила так отчётливо, что на секунду показалось – он здесь, в комнате, между системным блоком и стопкой учебников.

Она ответила коротко и тепло, стараясь не писать лишнего. Маша не знала о дарах и не должна была знать: четвёртое правило, никто вне семьи. Тая написала про Москву, про школу, про новый парк через дорогу, про то, что скучает тоже, и поставила смайлик – скобочку после двоеточия, как было принято в 2002 году, когда вся нежность мира умещалась в двоеточие и закрывающую скобку. Про то, что на про-

шлой неделе увидела через старую карту чужую войну, не написала. Про окурок на подоконнике, о котором папа рассказал маме шёпотом, думая, что дочери спят, не написала тоже. Варенье тёти Зины упомянула отдельно: «Жду с косточками, иначе это компот».

Модем снова захрипел, отправляя ответ. Тая закрыла почту и посидела ещё минуту перед тёмным экраном, на котором мигал курсор, как маленький маяк.

* * *

Телефон зазвонил в субботу, после обеда. Дима был в кабинете – дверь закрыта, за ней тишина, из тех, которые означают работу, а не отдых. Катя читала в гостиной, подвернув ноги под себя на диване, – Мураками, «Норвежский лес», в мягкой обложке с погнутым углом. Девочки были в своих комнатах: Тая – над алгеброй, Таня – над стихами, которые притворялись черновиком сочинения.

Дима снял трубку после второго гудка – Катя слышала через стену его голос, негромкий, ровный, с теми микропаузами, которые означали, что собеседник говорит важное.

– Да, слушаю... Понял. Когда именно? Нет, конкретнее, пожалуйста. Понял. Спасибо, Лариса Николаевна.

Он вышел из кабинета через три минуты – и Катя, даже без всякого дара, по одному движению его руки, которая привычно коснулась дверного косяка и задержалась на се-

кунду дольше обычного, поняла: новости не хорошие и не плохие, а из третьей категории – тревожные.

Дима сел рядом, взял её книгу и заложил страницу загнутым уголком. Катя ненавидела, когда так делают, но он делал это с первого дня знакомства, и она давно перестала бороться, как перестают бороться с погодой.

– Кравцова. Крюков никуда не делся. Просто научился ждать.

Катя посмотрела на него. Димино лицо было спокойным – но спокойствие это было рабочим, профессиональным, тем самым, которое он надевал в зале суда перед сложным допросом. Дома он так выглядел редко.

– Подробнее, – сказала Катя.

– Его структура. Она расширяется. Не быстро, но системно. Кравцова говорит – пока без агрессии, скорее – инвентаризация. Он собирает данные.

– О нас?

– Обо всех. Мы – один пункт из многих. Но пункт, который он запомнил.

Катя помолчала. За стеной Таня тихо напевала что-то – не мелодию, а ритм, повторяющийся рисунок из слогов, от которого по комнате разливалось что-то вроде покоя, только с металлическим привкусом, как вода из-под крана зимой.

– Мы обычная семья, – сказала Катя, и фраза повисла между ними, истёртая от частого употребления, потерявшая первоначальный смысл и обретшая другой, более глубокий,

как монета, которая ходит по рукам так долго, что рельеф стирается, но ценность остаётся.

Дима накрыл её руку своей.

– Да, – сказал он. – Обычная.

И они оба знали, что это неправда, и оба знали, что другой это знает, и от этого общего знания делалось одновременно тяжело и легко – как от рюкзака, который нести трудно, но бросить невозможно.

Вечером Дима достал зелёную тетрадь с холодильника и сел за кухонный стол, пока Катя мыла посуду. Писал недолго – его записи всегда были краткими, как протокол: *«11.10.2002. Звонок Кравцовой. Крюков: расширение структуры, системный сбор данных, мягкий мониторинг. Конкретной угрозы нет. Общий уровень – жёлтый. Способности девочек стабильны. Контроль улучшается. Уровень внешней угрозы – без изменений. Пока».*

Он закрыл тетрадь и положил обратно на холодильник, рядом с магнитом из Хабаровска – тигр на фоне сопок, привезённый из поездки, которая изменила всё и ничего одновременно.

* * *



Воскресный ужин был ритуалом. Семья Голубевых не отличалась обрядоверием, но ритуал этот соблюдала строго: воскресный ужин означал границу, за которой заканчивалась неделя с её школами, судами, протоколами серой мышки и начиналась территория, где можно было быть собой.

Или хотя бы приблизиться к этому.

Пельмени были Катины – кривоватые, с защипами в разные стороны, с мясной начинкой, которую она делала сама, потому что «магазинные пельмени – это не пельмени, а оскорбление для теста». Лепили вчетвером: Дима раскатывал тесто с точностью, которую перенёс из юриспруденции в кулинарию, Тая вырезала кружки стаканом, Таня закладывала начинку, а Катя защипывала – и каждый пельмень выходил разным, с характером, как дети, которых не удаётся вылепить по шаблону.

Сейчас они варились в большой кастрюле, и по кухне плыл запах теста и мяса, и Катя стояла у плиты, помешивая шумовкой, когда Таня, сидевшая за столом над учебником биологии, вдруг подняла голову.

– Мам, – сказала она, – ты ведь пельмени забыла.

Катя вздрогнула, обернулась к кастрюле – нет, всё нормально, пельмени мирно кружились в кипятке, ни один не прилип ко дну, – и перевела взгляд на дочь. Потом принялась. И только тогда – через секунду, через полторы – почувствовала: из духовки тянуло гарью. Пирожки с капустой. Она поставила их подрумяниться сорок минут назад и забыла.

– Господи, – Катя рванула к духовке, схватила прихватку, распахнула дверцу. Пирожки не сгорели – но были на грани, с тёмными подпалинами по бокам, с запахом, который через минуту стал бы запахом катастрофы.

– Ты могла бы хотя бы *притвориться*, что не знала, – ска-

зала Катя, выставяя противень на стол и обмахивая лицо прихваткой. – Ну, для приличия. Для сохранения маминого достоинства.

– Мам, ты думала про пирожки так громко, что я удивлена, как соседи не позвонили, – Таня пожала плечами с усмешкой, от которой не поймёшь, шутит она или констатирует. – «Пирожки, пирожки, я же ставила пирожки» – это было прямо в голос. В смысле, в мой.

– Стоп-кадр, – Катя подняла ладонь. – Давайте договоримся: мои мысли о кулинарных промахах – закрытая территория. Частная собственность. Неприкосновенность жилища распространяется и на голову.

– Это не чтение, – Таня захлопнула учебник. – Это как если кто-то в соседней комнате поёт. Громко. Без слуха. Я не виновата, что у тебя громкость на максимуме.

Дима вошёл на кухню в этот момент, втянул носом воздух и оценил обстановку с мгновенностью, которую в суде подавал как профессиональную наблюдательность.

– Доказательная база: дым из кухни, показания свидетелей. Для установления факта подгорания телепатия не требуется.

– Нормальным языком, пожалуйста, – Катя закатила глаза, но уголки губ уже дрогнули. Тая стояла в дверях с раскрытой ладонью у бедра – «нормально» – и видела, как мама сдерживает улыбку, героически и безуспешно. – Подсудимые свободны. Кто идёт за новыми пирожками? Пельме-

ни-то целы.

– Логично, – сказала Тая.

Они сели ужинать – все четверо, за столом, накрытом клеёнкой в подсолнухах (Катя мечтала о скатерти, но с двумя подростками и пельменями скатерть была бы актом неоправданного оптимизма). Пельмени – с полной миской сметаны. Пирожки – подгоревшие, но съедобные, если не обращать внимания на чёрные бока. Чай – из электрического чайника, который Дима купил на прошлой неделе взамен старого, с присвистом, и новый работал бесшумно, от чего кухня казалась непривычно тихой.

– Письмо от Маши, – сказала Тая. – Серёжка Панкратов женился. Ему семнадцать.

– Господи, – Катя подняла брови. – Что его мама?

– В обмороке. Обе мамы.

– Какая, с точки зрения закона, прекрасная торопливость, – заметил Дима, подцепляя вилкой пельмень. – Доказательная база для развода через два года будет обширной.

– Циник, – Катя бросила в него хлебным мякишем, и он поймал его на лету, не глядя, машинальным движением, от которого Катя каждый раз хотела одновременно восхититься и разозлиться.

– Реалист, – поправил Дима с таким невозмутимым видом, что Таня засмеялась – настоящим, негромким, домашним смехом, – и на несколько минут кухня стала тем, чем должна быть: местом, где люди едят, шутят, роняют крошки

на клеёнку с подсолнухами и не думают о том, что за стенами.

Потом пришла тишина – та самая, наполненная, из тех, что умеют наступать в этой семье между двумя фразами: все четверо замолкали одновременно, молча, по какому-то общему внутреннему метроному, и сидели, каждый со своим миром внутри, но все – в одной крепости. Дима смотрел в окно, где октябрьские сумерки медленно пережёвывали парк. Катя перебирала вилкой остатки сметаны на тарелке, рисуя узоры, которые тут же расплывались. Тая держала кружку обеими руками, грея пальцы, хотя на кухне было тепло. Таня слушала тишину – не внешнюю, а ту, что наступала рядом с семьёй, когда чужие голоса отступали, и оставался только родной, тёплый, еле слышный гул – как далёкое море в ракушке.

На подоконнике, в правом углу, желтел стикер, приклеенный ещё при переезде: «Мы обычная семья». Почерк Кати, округлый и уверенный. Бумага выцвела, один край отклеился и загнулся внутрь, но никто не снимал стикер и никто не подклеивал. Он просто был, как бывают вещи, которые давно перестали быть надписью и стали частью стены.

* * *

Алёна Волкова сидела в школьном буфете, грызла колпачок ручки и смотрела на сестёр Голубевых через три столика.

Они не делали ничего подозрительного. Тая ела яблоко и читала книжку в мягкой обложке – Коэльо, «Алхимик», тот самый, который читали все, – а Таня пила чай из пластикового стаканчика и что-то записывала в блокнот, прикрывая страницу рукой, как списывающая троечница, хотя троечницей не была. Обычные сёстры. Обычный обед.

Но Алёна вела список. В голове, потому что на бумаге было бы параноидально, а Алёна параноиком себя не считала: она считала себя наблюдательной, а это разные вещи, хотя граница между ними в последнее время истончалась.

Двадцать семь случаев за два с лишним года. Тая однажды в музее назвала факт, которого не было на табличке, и выкрутилась несуществующим рефератом. Таня на перемене сказала Лене Сорокиной позвонить маме, а через пять минут Лену и правда вызвали к телефону – мама попала в аварию, мелкую, без жертв, но всё же. Тая перед контрольной по географии сказала: «Это будет про Австралию» – и оказалась права, хотя проходили Африку.

По одному это объяснялось случайностью. Вместе – уже нет.

Но двадцать семь совпадений это уже статистика. Алёна, дочь инженера-математика, знала, что статистика наука упрямая. Папа говорил: «Три совпадения – случайность, пять – закономерность, двадцать семь – диссертация». Диссертацию Алёна писать не собиралась, но колпачок уже третий за месяц загрызла до дыры.

Она не спрашивала напрямую – чувствовала: есть черта, за которой дружба перестаёт быть дружбой и становится допросом. Алёна этой чертой дорожила. Тая была лучшей подругой – настоящей, той, с которой можно молчать и не объяснять почему, – и если у неё есть секрет, то, может, у секрета есть причина, а у причины – право на существование.

Но глаза. Глаза Алёны говорили другое. И Тая видела в этих глазах то, что видит любой, кто привык замечать: вопрос, терпеливый и ненавязчивый, но не собирающийся уходить.

Тая отложила «Алхимику», поймала Алёнин взгляд через три столика и подняла бровь – что?

Алёна улыбнулась, помахала рукой – ничего, всё нормально – и вернулась к своему йогурту. Двадцать восьмого пункта пока не было. Пока.

* * *

Неделю спустя, в четверг, Кравцова позвонила снова.

Дима был один в квартире – Катя увезла девочек на Горбушку за диском для Тани (Земфира¹, «Четырнадцать недель тишины»; кассета уже была анахронизмом, а CD-плеер Таня купила на свои, скопленные с дней рождения и мелких подработок: перевод текстов для Катиной коллеги, три

¹ здесь и далее: Признана иностранным агентом

рубля за страницу). Дима сидел в кабинете, перечитывая материалы по «Стройинвесту», когда Nokia на столе высветила незнакомый номер. Серая, тяжёлая, модель 3310, которую он не менял третий год, потому что не видел причины. Но кто звонит, он знал раньше, чем посмотрел на экран. Знание пришло, как приходило всегда: без стука, без церемоний, как факт. Кравцова. И новости хуже, чем в прошлый раз.

– Лариса Николаевна, – сказал он вместо «алло».

Пауза на том конце, короткая, почти незаметная. Кравцова давно привыкла к тому, что Дима знает, кто звонит, раньше, чем посмотрит на экран, но каждый раз эта привычка требовала от неё маленького усилия.

– Дмитрий Михайлович. Не буду занимать много времени.

Голос у неё был виолончельный, как всегда, но с новой нотой: осторожность, похожая на усталость, как у человека, который несёт полный стакан по скользкому полу.

– Крюков расширил структуру. Теперь не только сбор данных, а система: участковые, школьные психологи, медицинские карты. Под видом профилактики. Формально это работа с «трудными подростками» и «одарёнными детьми», фактически – фильтр. Сетка, через которую просеивают, и зёрна это мы.

Дима слушал, не перебивая. За окном кабинета растянулся обычный московский двор: качели, песочница, три берёзы, ещё не облетевшие до конца, и мужчина в чёрной курт-

ке выгуливал добермана. Дима запомнил его лицо, привычка, от которой не мог избавиться и не хотел.

– Две семьи из моего круга уехали, – продолжала Кравцова. – Одна в Краснодар, другая в Израиль. Не паникую, информирую.

– Уехали потому что давили?

– Уехали потому что почувствовали, что могут начать давить. Разница существенная, но ненадолго.

Дима потёр переносицу. Знание внутри него, тёплое и неотменимое, как гравитация, говорило: Кравцова права. Мир сужался, не быстро, не драматично, а так, как сужается дорога в тумане: ты не замечаешь, пока не обнаруживаешь, что обочины нет.

– Нам нужно что-то менять? – спросил он.

– Пока нет. Но помните, что «пока» это не «всегда». Берегите девочек, Дмитрий Михайлович. Подростки с выраженными способностями – именно то, что ищет его сетка.

– Спасибо, Лариса Николаевна.

– Не за что благодарить, – голос Кравцовой стал чуть мягче, на полтона. – Мы все в одной воде плывём. Кто-то ближе к берегу, кто-то дальше. Но вода одна.

Она положила трубку. Дима сидел с телефоном в руке ещё минуту и смотрел в окно. Мужчина с доберманом ушёл. Качели скрипели на ветру, пустые, как декорация к фильму, который ещё не начался.

Потом пришли Катя и девочки – шумные, с пакетами, с

холодным октябрьским воздухом в волосах. Таня размахивала CD-диском с торжеством полководца, Тая несла бумажный стаканчик с латте, а Катя тащила пакет из «Ашана» и книгу, найденную на развале у Арбата.

Дима вышел встречать их в коридор и стоял в дверях, прислонившись к косяку, и смотрел, как они раздеваются, как Таня роняет ботинок, как Тая отпивает латте и обжигается, как Катя вешает куртку и поправляет заколку-краб, – и в этот момент знание, которое жило в нём всегда, сказало ему две вещи одновременно: эти люди – всё, что у него есть, и кто-то, рано или поздно, попытается это отнять.

Он улыбнулся, потому что улыбка была единственной формой сопротивления, которую он мог себе позволить, не пугая семью.

– Как Горбушка? – спросил он.

– Земфира за двести, – сообщила Таня, размахивая диском так, будто это был олимпийский факел. – А ещё я видела Nokia 7650 с камерой. Мечта, а не телефон. Двенадцать тысяч рублей. Папа, я знаю, что ты сейчас думаешь, и всё равно спрошу: можно?

– Доказательная база для такой покупки потребует серьёзной подготовки, – Дима поднял бровь.

– Это шантаж?

– Это стимулирование академической успеваемости. Четвертные отметки без троек.

– Жёстко, – Таня вздохнула с театральным драматизмом,

но глаза смеялись. – Прокурор суров, но справедлив.

Дима подмигнул ей – и только Катя, стоя за спинами дочерей, увидела, как его рука коснулась дверного косяка и задержалась на секунду дольше обычного.

Вечером, когда девочки уснули, Дима рассказал Кате всё: участковых, школьных психологов, медицинские карты, две семьи, фильтр, сетку. Говорил тихо, как всегда, когда речь шла о вещах, которые не должны просачиваться через стены.

Катя слушала у чайника, который только что вскипел. Слушала молча, обхватив локти руками, а потом повернулась к нему так резко, что кружка на столе звякнула о блюде.

– Он не тронет их?

– Если попробует, у него будут очень неудачные следующие дни.

Катя посмотрела на него, наклонив голову, как делала всегда, когда хотела убедиться, что муж говорит ей правду, а не ту версию правды, которая предназначена для её спокойствия.

– Ты сейчас сказал это так спокойно, будто речь о покупке картошки.

– Картошку я, кстати, покупаю осторожнее, – Дима повертел ложку между пальцами. – Там цены скачут непредсказуемо. А с Крюковым хотя бы понятна логика.

Катя взяла пустую кружку со стола, обхватила её обеими руками и поставила обратно, так и не налив чаю, будто за-

была, зачем брала.

– Вот и пугаешь ты меня своей фирменной логикой.

– Я ставлю замок на дверь, Катя. Просто замок.

– А если замок не поможет?

– Тогда у нас есть я, ты и очень плохая ночь для любого, кто полезет к девочкам.

За окном прошла машина, качнула светом по стене, и Катя провожала этот свет взглядом, пока он не исчез за шкафом.

– Иногда ты звучишь так, будто играешь роль человека, который уверен. А внутри другой текст.

– Внутри тот же текст, – Дима потянулся к чайнику, налил ей, себе, поставил кружки на стол. – Просто без красивых метафор. Мы справляемся. Продолжаем справляться.

– Вот за это тебя и люблю, – Катя фыркнула, обхватила кружку. – И раздражаюсь одновременно.

– Взаимно.

– Значит, держим замок?

– И тишину. И чай, – он чокнулся кружкой о её кружку, осторожно, как чокаются хрусталём на свадьбе, только вместо хрусталя был фаянс из «Ашана», и вместо свадьбы – вечер, после которого нужно просто встать завтра и жить дальше.

Дверь между комнатами сестёр была приоткрыта – как всегда, с самого детства, с тольяттинской квартиры, где щель между дверью и косяком была ровно такой ширины, чтобы в неё проходил шёпот, свет ночника и ощущение, что ты не одна.

– Тань, – позвала Тая в темноту. – Ты не спишь.

Таня не ответила сразу, но Тае и не нужны были слова: она знала ритм Таниного дыхания, как знают мелодию любимой песни, и когда ритм не совпадал со сном, это было очевиднее любой световой вывески.

– А ты бы уснула? – откликнулась Таня из своей темноты. Земфиру она выключила, наушники лежали на подушке, и тишина была настоящей – не подоконной, не школьной, а ночной, домашней, слоистой, как пирог: внизу – гул города, выше – тикание часов в коридоре, ещё выше – дыхание родителей за стеной, и на самом верху – тонкий, еле различимый звон, который Таня слышала только ушами, недоступными другим. Фон. Мир думает. Город думает. Триста тысяч человек в радиусе километра видят сны, и от этих снов поднимается еле слышный шум, как от далёкого водопада.

– Ты слышала, о чём папа говорил с мамой? – спросила Тая.

Пауза. Таня могла бы не отвечать – обе знали, что могла.

– Не специально. Папа думает тише всех, но когда он волнуется, это как... знаешь, как если в тихой комнате кто-то уронит книгу. Не громко, но слышно.

– И?

– Крюков. Сеть, мониторинг, что-то про участковых и школьных психологов.

Тая лежала в темноте, глядя в потолок, на котором свет фонаря с улицы рисовал прямоугольник – жёлтый, чёткий, как конверт. Руки – поверх одеяла, ладонями вверх. Привычка, просто привычка, как класть ключи всегда на одно место.

– Сенека говорил: мы страдаем чаще в воображении, чем в реальности, – сказала она.

– Сенека не знал Крюкова, – ответила Тая.

Тая усмехнулась в темноте. Хорошо, что Тая этого не видела – или видела, потому что засмеялась тоже, тихо, носом, как смеются, когда смешно и немножко страшно одновременно.

– Мы справимся, – сказала Тая. Ясновидение не работает по заказу и редко показывает то, что хочешь увидеть, но была уверенность другого порядка, выросшая из опыта: они справлялись раньше и справятся теперь.

– Знаешь, что смешно? – произнесла Тая задумчиво. – Ну, то есть не смешно. Другое слово. Сегодня на Горбушке я случайно коснулась руки продавца, того, с бородой, у которого мы брали Земфиру, и услышала его мысль. Одну,

чёткую, как звонок: «Господи, только бы не закрыли точку. Только бы не проверка». И мне стало... понятно, что ли. Все чего-то боятся. Все прячутся. Мы с нашими способностями, он с нелегальными дисками, мамы Панкратовых с ранней свадьбой. Весь мир прячется.

Тая повернулась на бок, лицом к щели между дверью и косяком, через которую в её комнату тянулась полоска Таниной темноты.

– Каждый момент жизни, – сказала она, – создан вашими же мыслями. Марк Аврелий.

– Мне больше нравится так, – Таня помолчала и произнесла, не сразу, подбирая слова, как подбирают камешки на берегу: – «Страх – это черновик. А жизнь – чистовик, который пишется поверх».

– Это чьё?

– Моё, только что придумала.

– Запиши.

– Утром запишу.

Тишина. Потом – Танин голос, совсем тихий, почти без звука, одними губами:

– Тай, а если кто-то стоял на лестнице? Папа ведь нашёл окурок.

Тая не ответила сразу. Она смотрела на жёлтый прямоугольник на потолке – конверт без адреса, письмо без слов, – и чувствовала, как под кожей, в кончиках пальцев, просыпается что-то, похожее на предчувствие, только без образов:

глухое, слепое, как свет за закрытыми веками.

– Если кто-то стоял, – сказала она наконец, – то он увидел дверь. Просто дверь. Четвёртое правило.

– Четвёртое правило, – повторила Таня, и это прозвучало как пароль, как заклинание, как выдох перед прыжком.

– Спи, – сказала Тая.

– Сплю, – ответила Таня, и обе знали, что не уснут ещё долго, но это знание было из тех, которыми делятся, не про-
износя вслух.

* * *



Дверь на лестничную площадку закрывалась с глухим щелчком – Дима сам поставил замок, немецкий, надёжный, из тех, что не открыть без ключа и навыка. Привычка проверять площадку перед сном стала ритуалом давно, ещё после истории с Виталием в Тольятти, и с тех пор ни один вечер

не заканчивался без этого обхода: три минуты, два пролёта, взгляд на подоконник между этажами, на дверь мусоропровода, на почтовые ящики внизу. Ничего необычного. Ничего – вот уже полтора года.

В этот вечер – поздний, после разговора с Катей, после чая, после записи в зелёной тетради – Дима вышел на площадку, как выходил всегда: тихо, в одних носках, без света, чтобы не привлекать внимание соседей. Площадка дышала знакомыми запахами: варёная картошка из квартиры Романовых, кошка Петровых (второй этаж, персидская, с характером тигра и грацией бегемота), еле уловимый сладковатый дух старого дерева от перил, которые помнили руки трёх поколений жильцов.

Дима прошёл к лестнице, спустился на полпролёта. Подоконник между третьим и вторым этажом – широкий, кафельный, с облупившейся краской на раме – был тем местом, где он обычно задерживался: отсюда просматривался двор, подъездная дверь и кусок тротуара до арки.

На подоконнике лежал сигаретный окурок.

Свежий, ещё тёплый: тепло уходило из него, как уходит из руки, которую только что держали. Марка дешёвая, «Пётр I», синяя пачка, из тех, что продают в каждом ларьке за двадцать три рубля. Фильтр обжат чуть левее центра, привычка правши, который курит быстро, жадно, глубоко затягиваясь.

Никто из соседей не курил на лестнице. Дима знал это наблюдательностью, помноженной на полтора года жизни в до-

ме: Романовы не курили принципиально (бабушка Романова – бывший фтизиатр), Петровы курили на балконе, молодой человек с четвёртого выходил во двор, а его девушка бросила в прошлом году и сообщила об этом всему подъезду объявлением в лифте, фломастером на листке А4.

Дима стоял в полутьме, держа окурочку двумя пальцами – указательным и большим, как держат улику, – и знал. Знание пришло целиком, без частей, без логической цепочки: готовое, как приговор.

Кто-то стоял здесь. Стоял и смотрел на дверь – на их дверь, третий этаж, направо. Вор бы не оставил следа: вор существо осторожное, как все, кто живёт нарушением чужих границ. Случайный гость поднялся бы к нужной квартире или спустился, не задерживаясь на подоконнике для перекура. Кто-то, кому важно было быть здесь. Стоять. Смотреть. И, возможно, чтобы это заметили.

Визитная карточка без имени и номера. Просто: «Я был здесь, и я знаю, где вы живёте».

Дима положил окурочку обратно на подоконник – точно туда, где он лежал. Не тронул, не выбросил. Поднялся по лестнице, вошёл в квартиру, закрыл дверь на все замки. В полутьме коридора – тусклый свет ночника, отражённый от зеркала, – увидел Таю. Она стояла в дверях детской, в пижаме, с книгой в руке – «Алхимик» Коэльо, зачитанный до мягкости, – и смотрела на него с тем выражением, которое у пятнадцатилетних бывает только тогда, когда они знают больше,

чем положено в их возрасте.

Тая подняла раскрытую ладонь у бедра – «нормально?»
Дима ответил тем же жестом. Раскрытая ладонь. «Нормально».

Тая кивнула, отступила в комнату и закрыла дверь – не до конца, оставив щель, через которую тянулся свет ночника и тишина, наполненная дыханием спящей (или не спящей) Тани.

Дима прошёл на кухню. Катя была там – конечно, была: в стрессе она всегда шла на кухню, как моряк идёт к кораблю, – и ставила чайник. Щелчок кнопки, гудение спирали, привычный звук, который в этой семье означал: сейчас мы сядем и разберёмся.

– Нас проверяют, – сказал Дима шёпотом, прикрыв за собой дверь. – Кто именно, пока не ясно. Но это не взлом и не угроза. Визитная карточка.

Катя стояла спиной к нему, и он видел, как её плечи на секунду окаменели, а потом расправились, как расправляется ткань, которую разгладили ладонью. Она повернулась.

– Крюков?

– Возможно. Или его новая сеть. Кравцова предупреждала про мониторинг.

Чайник набирал обороты, гудел всё выше, и в этом нарастающем гуле было что-то почти успокаивающее, как в поезде, который набирает скорость и самым движением обещает, что стоянка не вечна.

– Стоп-кадр, – Катя прижала ладони к краю стола, будто собиралась оттолкнуться. – Что мы делаем?

Дима сел напротив, положил руки на клеёнку с подсолнухами, рядом с крошками от ужина и пятном сметаны, которое Катя не заметила.

– Пока ничего. Смотрим. Слушаем. Живём как жили.

Чайник щёлкнул, вскипев, и тишина после щелчка показалась оглушительной.

– Дима, – сказала Катя тихо, обхватив себя руками. – Девочкам пятнадцать и четырнадцать. Пятнадцать и четырнадцать. Они должны думать о контрольных и мальчиках, а не о том, что кто-то караулит на лестнице.

– Они и думают о контрольных, – ответил Дима, и пауза после этих слов была настолько выразительной, что Катя не стала переспрашивать о чём ещё они думают.

Она встала, налила два чая и поставила кружки на стол: его белую из «Ашана» и свою, с надписью «Лучшей маме на свете», уцелевшую в десятках воскресных утр.

– Мы здесь, – сказала Катя, и каждое слово легло отдельно, как камень в фундамент.

Дима посмотрел на неё, потом на подоконник, где желтел стикер с этой же фразой, написанной три года назад. Бумага потемнела, один край загнулся. Но держался.

Он допил чай, положил кружку в раковину и открыл зелёную тетрадь. Ручка – синяя, шариковая, из тех, что пачкают пальцы, – легла на бумагу, и запись получилась короче,

чем тревога: «18.10.2002. Окурок на подоконнике, 3-й этаж. "Пётр I". Свежий. Обжат правой рукой, курильщик с привычкой. Никто из соседей. Мониторинг? Прощупывание? Визитная карточка без имени. Не паниковать. Но не забывать».

Он закрыл тетрадь и вернул её на холодильник, рядом с хабаровским магнитом. Тигр на фоне сопок скалился в полутьме, как будто знал что-то, о чём не говорил.

За окном кухни – московская ночь, октябрьская, с низкими облаками и запахом дыма, который к утру развеется, а к вечеру вернётся. Клёны в парке уже не горели – в темноте они были просто деревьями, просто силуэтами, и только фонарь на дорожке выхватывал лужу, полную листьев, похожую на витраж, разбитый ветром.

Дима выключил свет на кухне и постоял в темноте, прислушиваясь чем-то более глубоким, чем слух, тем органом, которому нет названия на языке медицины. Ничего, кроме тишины.

Но тишина была из тех, что не обещают покоя. Из тех, что бывают перед первой нотой – когда оркестр уже поднял инструменты, дирижёр уже поднял палочку, и зал затих, и все ждут, и никто не знает, что прозвучит.

Дима закрыл кухонную дверь и пошёл спать. Утром он проверит лестницу снова, и окурка на подоконнике уже не будет – он знал это сейчас, знал с той ледяной тихой уверенностью, с которой знал всё, – но пепельный запах останется,

как остаётся память о прикосновении после того, как рука убрана.

Кто-то приходил. Кто-то уйдёт. Но кто-то вернётся.

Новый отсчёт началс

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.